

Ольга ГРАБАРЬ
Человек войны
Рассказы

Ольга Игоревна Грабарь (Епифанова) родилась в 1922 году в семье известного художника и историка искусств И.Э. Грабаря. В 1940 г. поступила на биологический ф-т МГУ. В феврале 1943 г. ушла добровольно на фронт. Служила переводчиком в полковой разведке, затем в штабе стрелкового корпуса. Демобилизовалась из армии в августе 1945 г. Имеет боевые награды: орден Красной Звезды, медаль “За боевые заслуги”, орден Отечественной войны II степени.

После демобилизации окончила биофак МГУ, работала в Институте экспериментальной биологии и Институте молекулярной биологии, защитила кандидатскую (1953 г.) и докторскую (1964 г.) диссертации. Автор 6 книг и более 120 печатных работ в научных журналах.

С рассказами выступает впервые.

Особое задание

В конце лета сорок первого года в маленький провинциальный городок прибыла на переформирование воинская часть, сильно потрепанная в боях при отступлении. Пополнение шло туго.

Однажды утром к военкому привели рослого малого в поношенной байковой куртке и стоптанных ботинках.

— Второй день около военкомата ошивается, — доложил дежурный.

— Тебе чего? — спросил военком.

— Хочу на фронт, — коротко ответил парень.

— Скажи какой доброволец выискался. Да кто ты такой?

— Стрижов Александр. Закончил семилетку.

— Родители есть?

— Нет, — соврал Стрижов.

— А лет тебе сколько?

— Шестнадцать.

На самом деле Стрижову шел пятнадцатый год, и закончить семилетку он не успел, потому что его отчислили за неуспеваемость. Не то чтобы он был от природы непонятлив или ленив, но, когда выходил к доске, мысли у него почему-то не складывались в слова.

“Ты, Стрижов, только портишь нам показатели по школе”, — хором твердили учителя.

“Двоечник, дармоед!” — кричал отец.

“И в кого такой уродился?” — вторила ему мать.

В конце концов Стрижов решил бежать из дома, да только без денег далеко не убежишь. А тут война!

— Значит, говоришь, шестнадцать? — переспросил военком. — Ну, что ж, приходи завтра с паспортом, поставим на довольствие.

Стрижов вздохнул. Паспорта у него не было.

“Все, сорвалось”, — с тоской подумал он.

Однако паспорт не понадобился. На следующий день часть снялась из города, и больше Стрижов в него не возвращался.

— Обмундирование будешь получать постепенно, по мере выбывания личного состава, — разъяснил ему веселый конопатый старшина Пнухин. — Все равно твоего роста нет. А сапоги хоть сейчас могу выписать, сорок шестого размера, целые. Погоди хватать-то, справку оформим.

С этими словами Пнухин полез в дорожный сейф, достал огромную круглую печать и на чистом листе бумаги лихо вывел чернильным карандашом под копирку:

Справка на одну пару сапог.

Выдана настоящая рядовому Стрижову в том, что ее выдано...

Здесь Пнухин на секунду задумался, зачеркнул “ее” и написал “его”, потом заменил “его” на “их” и для ясности приписал:

одна пара сапог кирзовых.

Текста оказалось маловато, всего одна фраза. Пнухин поставил точку и с красной строки добавил:

Что и удостоверяю.

За начальника хозотдела в/ч Пнухин И.М.

Остальную часть листа заняла фантастическая подпись Пнухина, похожая на вписанный в окружность параллелепипед. Бумага получилась хорошая.

— Ну вот, в таком роде, — удовлетворенно произнес Пнухин, шлепнув печатью. — Забирай себе первый экземпляр, будешь им пользоваться как документом, временно. Сойдет, пока формируемся, а на войне бумага не нужна. Война — она сама все спишет. А вообще-то жизнь не верблюд, к вечеру повезет. Понял?

Слова вылетали из Пнухина с необычайной легкостью, как горох из прорванного пакета, хотя смысл их Стрижову не вполне был ясен. От всего этого у него даже дух захватило.

Подумать только — еда, сапоги бесплатные, да еще и бумага с печатью. На Пнухина он смотрел с нескрываемым восхищением. Оценивший это Пнухин великодушно заметил:

— Если что, заходи. Главное — не теряйся.

Стрижов сложил справку вчетверо и убрал ее во внутренний карман куртки. Там же хранился листок с сочинением на тему “Капитанская дочка” Пушкина. Стрижов берег его как память об учительнице литературы Клавдии Петровне, которая, одна среди всех учителей, не считала его безнадежным и всегда старалась помочь.

“Стрижов неглупый мальчик, просто ему нужно быть повнимательнее, — любила повторять Клавдия Петровна. — Ну, пожалуйста, Стрижов, — обратилась она к нему однажды, — постарайся написать домашнее сочинение на тройку”.

Стрижову никто никогда не говорил “пожалуйста”. Он пришел домой, открыл учебник, но запомнить ничего не смог. Тогда он вырвал из общей тетради листок в клетку и написал:

Стрижов, 7А. Капитанская дочка. Домашнее задание.

Гринеv был из семьи, в которой он жил. Его звали Петр Андреевич. Он любил Машу Миронову. Когда он приехал в Белогорскую крепость, то он сказал, что у вас сидит Маша Миронова. Пугачев разгневался и сказал: кто посмел обидеть ее Швабрин. И они пошли туда, где сидела Маша Миронова.

Клавдия Петровна вздохнула, покачала головой и поставила 3-, а внизу приписала: “Стрижов, пожалуйста, будь повнимательнее”.

Этот листок был единственным напоминанием Стрижову о прошлой жизни.

Перед отправкой на фронт Пнухин надавал Стрижову кучу ценных советов:

— Первое дело — не попасть на передовую, — говорил Пнухин. — Я там был, а теперь, видишь, в АХЧ, потому что имею способности. Ну, а уж если попал, рот не разевай — снайпер тут же сымет. В атаке ори, беги вместе со всеми, а потом вдруг споткнись — полежал, огляделся и назад побежал, как будто сдуру. В обороне старайся на глаза не попадаться. Начальник, он как? Увидел — ткнул: вот вы двое, ты и ты, понесете сводку в штаб, а заодно и обед комбату. Или покойника закапывать пошлют, мало ли чего придумают. Так вот ты, Стрижов, на это не попадайся. Солдат с умом — он всегда на месте, а в данный момент его под рукой как будто и нет. Одним словом, не теряйся, — подытожил Пнухин.

Стрижов не только не потерялся, а, напротив, расцвел в армии. Отличался он необычайной выносливостью, спал мало и брался за любую работу. Теперь он всегда был кому-нибудь нужен. Беспокоило его только отсутствие документов. “Не волнуйся, Стрижов, — утешали его солдаты. — Вот ранят, попадешь в госпиталь, сразу удостоверение дадут”.

Но в госпитале побывать все еще не довелось. Формирование — бой — потери — переформирование — резерв — снова бой. И пока ни одной царапины.

Сегодня Стрижов в компании с ефрейтором направлялся в расположение полка, занимавшего оборону на Курской дуге, для пополнения личного состава. Однако

ефрейтор надумал завернуть по дороге в медсанбат, проверить больной зуб. “Пойду один, хоть и не положено, — решил Стрижов, взглянув на карту. — Тут до штаба лесочком рукой подать”. Он оставил карту ефрейтору и двинулся напрямик через лоштинки, ложбинки, овражки.

“Красота какая, — размышлялся Стрижов. — Из траншеи такого в жизни не увидишь. — Почему-то вспомнился Пнухин. — Где он теперь? Все, небось, сапоги выдает, — весело подумал Стрижов. — Надо же, а я на ровном месте на сук напоролся”.

Больше он ни о чем подумать не успел. Пуля угодила ему прямо в переносицу, и он упал лицом вниз, в болотце с растаявшим снегом.

В конце мая в разведвзвод принесли размокший картонный бумажник с двумя листками бумаги, на которых едва можно было различить обрывки слов: “*Стрижов... Капитан... задание... будь внимат...*”. А также размытые цифры 7А и 3-

— Похоже, шифровка, товарищ лейтенант, — доложил сержант из комендантского взвода. — Обнаружена в кармане убитого на участке третьей роты. Снайпер снял. Погоны без звездочек, документы отсутствуют, видимо, для конспирации. В списках личного состава полка не значится.

— Соображаешь, сержант, — похвалил его помкомвзвода. — Это как пить дать зашифрованная инструкция, на другом листке и схема просматривается, — добавил он, вглядываясь в размытую подпись Пнухина. — Значит, направлялся с заданием в тыл противника, но не дошел.

— Наверное, товарищ лейтенант, важная птица была. Может, в дивизию сообщить? — осмелел зардевшийся от похвалы сержант.

— Ты что, рехнулся? С ними мороки не оберешься, еще пришьют что-нибудь. Хочешь, чтобы нас с тобой в органы затаскали? Нет уж, сами справимся.

У перелеска под Курском можно увидеть небольшой деревянный столбик, на котором черной краской выведено:

“Здесь лежит капитан Стрижов. Геройски погиб, выполняя особое задание”.

Человек войны

Капитан Прошкин из дивизионной разведки был выдающимся матерщинником, настоящим виртуозом, к тому же великолепным рассказчиком. Он никогда не повышал голоса. Солдат он для порядка матерно журил, но получалось у него это как-то весело, с прибаутками, не обидно.

Внешности он был не очень заметной, роста среднего, худощав, подвижен. Волосы, брови и гимнастерка выгорели у него до одинакового светло-пшеничного цвета, ворот был всегда расстегнут, а пилотка торчала из кармана. Начальство смотрело сквозь пальцы на расхристанный вид Прошкина и многое ему спускало. О его отчаянной храбрости ходили легенды. Очевидцы вспоминали, как на одном конце села прорвались немцы, а на другом конце Прошкин как ни в чем не бывало, спокойно продолжал пить чай в прикуску, точно рассчитав, когда следует отходить. Все знали, что он выполнит любое задание: поднимет

людей в атаку, организует разведку боем, сам пойдет через минные поля в тыл противника — и обязательно вернется невредимым, радостно матерясь.

Обычно после ежевечерней нахлобучки солдаты закуривали и упрашивали Прошкина что-нибудь рассказать. Сюжетов было немного, но вдохновенная манера, образный язык и неистощимая фантазия рассказчика заставляли слушать его снова и снова.

— Товарищ капитан, а как вас жена на фронт провожала?

Это была любимая история, которую солдаты слышали десятки раз. Поломавшись для вида и закурив, Прошкин начинал издалека.

— До войны у нас в деревне...

Суть дела заключалась в том, что еще до войны Прошкин был самым многодетным мужиком в деревне и с июня сорок первого года стал регулярно получать отсрочки от призыва. Ему бы радоваться, да не тут-то было. С каждой следующей отсрочкой все больше постылел дом, все сильнее хотелось на войну. Наконец Прошкин решил бежать.

Когда рассказ доходил до этого места, начинало нарастать напряжение.

Прошкин разузнал, когда мимо деревни проходит очередной эшелон на фронт, запряг на рассвете лошадь и помчался на станцию. Поезд уже был готов к отправлению, и Прошкину удалось вскочить на подножку, но тут он услышал истошные вопли — растрепанная и ревушая, мчалась по перрону жена.

Рассказ достигал кульминации.

— Думаю, успеет или не успеет! — восклицал в этом месте Прошкин, и каждый раз у солдат замирало сердце. — Вот она все ближе, ближе...

После обязательной паузы Прошкин продолжал тихим голосом, постепенно набирая темп.

— А колесики тук-тук-тук, а она все бежит и орет: “Чтоб ты сдох, ирод, чтоб тебя первый же фриц застрелил!”. А колесики тук-тук-тук, а она: “Чтоб ты сдох-сдох-сдох”. А в сердце радость — свободен!

Война явилась для Прошкина настоящей свободой, он отдавал ей себя целиком. Не сумев полюбить жену и детей, он нежно любил солдат, и они платили ему тем же. Офицерский денежный аттестат Прошкин исправно пересылал домой, ничего не оставляя себе даже на мелкие расходы, но писем никому не писал. Он остался жив, однако после победы его никто никогда не встречал. Как будто с окончанием войны его больше не стало.

Благодарность перед строем

Когда Кнорин учился на курсах военных переводчиков, куда попал после десятилетки, он наивно полагал, что канцелярщины на фронте быть не может. Однако, получив назначение в разведвзвод стрелкового полка, державшего оборону на Курской дуге, он убедился, что бумажная жизнь неистребима и простирается до самого переднего края, правда, в довольно своеобразной форме.

Как водится, бумаги всегда не хватало. Газеты если и доходили до солдат, то чаще в виде отдельных клочков. Донесения и разведсводки писались на оберточных изделиях. Наибольшим успехом пользовались знаменитые “секретки” — сложенные пополам листки линованной бумаги с пометками “Выше черты не пишете, ниже черты не пишете”, предназначенные для полевой почты. Солдаты пускали их в основном на изготовление табачных самокруток. Газеты и секретки ценились на вес золота. Их можно было обменять на трофейное полотенце, самодельную наборную ручку для ножа и даже на кожаный немецкий бумажник.

Поначалу Кнорин с удивлением воспринял почти полное безразличие солдат на передовой не только к переписке, но и вообще к упоминанию о доме. Напрасно пытались увещевать их, матерясь, ротные замполиты.

“Вот попаду в госпиталь, тогда и напишу”, — упрямо твердили солдаты.

Кнорину они объясняли так: “Начнешь писать домой — заскучаешь, тут тебя снайпер и сымет. Вон Сивков из третьей роты написал письмо, заскучал — теперь покойник. А Шпонькин после письма бриться перестал и завшивел, воши — они ведь от тоски заводятся”.

Возразить на это было нечего.

Прошло время, и год спустя Кнорин, теперь уже переводчик штаба корпуса, сам с головой погрузился в бумажную жизнь: протоколы допросов пленных, перевод на русский язык дневников и писем и ежедневное составление разведсводок.

Как раз сегодня он собрался сесть за очередную сводку в компании с другим переводчиком, Мирским, временно прикомандированным к разведотделу из армейского резерва.

Появление в корпусе Мирского стало настоящим событием в военной жизни Кнорина, заставив его по-новому взглянуть на многие привычные вещи. С Мирским он мог часами разговаривать и спорить на равных, быстро переходя на немецкий язык в присутствии посторонних. Больше всего восхищала Кнорина способность Мирского ко всему относиться легко, с веселой южной иронией. Они понимали друг друга с полуслова, хотя их оценки событий и поведения людей подчас резко расходились. “Ничего странного в этом нет, — говорил Мирский. — Просто ты педант с проблесками романтизма, а я неисправимый циник”.

— Как ты составляешь сводки? — спросил Мирский.

— Как положено, — ответил Кнорин. — Жду, когда из дивизий поступят сведения, обобщаю, даю на подпись начальству и отправляю в штаб армии. А они пересылают в штаб фронта и в Совинформбюро.

— Все правильно. Только скажи мне, дивизионные сводки в обороне изо дня в день чем-нибудь различаются?

— Ну, если подумать, то мало чем. Где-нибудь могут языка взять или разведку боем провести.

— Об этом тут же сообщат по радию, сводка тут ни при чем.

— Что ты предлагаешь?

— Предлагаю тебе взять бумагу с копиркой и писать под мою диктовку: “Противник, занимающий оборону на правом берегу реки против частей и соединений, входящих в состав стрелкового корпуса такого-то (ну, ты это лучше меня знаешь), в течение дня вел редкий ружейно-пулеметный и минометный огонь. Дважды засечены разведывательные полеты “Фокке-Вульф-189”. Обнаружено скопление пехоты... (где-нибудь всегда обнаруживается). Отмечено передвижение двух самоходных орудий в направлении скопления пехоты. Не исключена перегруппировка сил противника на... (придумай, на каком направлении). Огнем нашей артиллерии поражены два пулеметных гнезда противника в расположении, скажем, 15-го полка 32-й пехотной дивизии “Хундескопф” (или еще как-нибудь)”. Теперь их потери. Сколько за сегодняшний день дадим? Не жалея, Кнорин, фрицев, не жалея. Все равно у нас их никто не пересчитает. Но и завышать не надо, чтобы все выглядело правдоподобно.

— А если не было перегруппировки?

— В следующей сводке напишем: “Согласно уточненным данным...”, ну, и т.д. Теперь другой вопрос. Кто подписывает сводки?

— Сначала майор Рамазов за разведотдел, а потом начштаба полковник Руднев.

— А где их искать?

Кнорин слегка помедлил и собрался с духом.

— Понимаешь, — не без колебаний сказал он, — вообще-то Рамазов все больше в разъездах по полкам, но мне он доверяет.

— Это в каком смысле?

— Ну, подписывать сводку, когда его нет. Видишь, красным карандашом “Рам” и закорючка.

— Молодец, Рам, правильное отношение к бумаготворчеству. Ну, а что Руд?

— Руднев расписывается синим карандашом.

— Замечательно, а блиндаж его далеко?

— Блиндаж-то близко, — вздохнул Кнорин. — Только по вечерам он там редко бывает. Если сводки из дивизий запаздывают, приходится бегать через лесок к автобусу.

— Какому еще автобусу?

— Трофейному. Он там со связисткой Нинкой ночует.

— И ты его будишь?

— Бывает и так.

— Ну, вот что, Кнорин, — подытожил Мирский. — Теперь мне все ясно. Когда-нибудь педантизм тебя погубит. Чтобы этого не случилось, прими от меня в дар синий карандаш. Во-первых, это избавит тебя от ненужной беготни по лесочкам, которые, между прочим, простреливаются. Во-вторых, это значительно скрасит пребывание в автобусе нашего начальника Руда. Его нельзя тревожить по пустякам. В благодушном состоянии он будет лучше служить родине.

— Так ты считаешь... — начал было Кнорин.

— Ты меня правильно понял. За дело!

С того самого дня разведсводки стали поступать из корпуса в штаб армии бесперебойно и своевременно. Кнорину так понравилась эта затея, что он и сам теперь по вечерам, лениво развальясь, спрашивал Мирского:

— Так сколько фрицев мы сегодня прикончим?

Самое удивительное произошло много позже. Мирского уже давно откомандировали в другой корпус, когда Кнорина неожиданно вызвали к начальству, чтобы объявить ему благодарность перед строем за отличное ведение делопроизводства. Так история с сочинением сводок завершилась достойным концом.

Вальс “Березка”

Летом сорок третьего года Кнорин был откомандирован из полка в только что сформированный стрелковый корпус. Он быстро успел свыкнуться с особенностями штабной жизни и стал своим человеком в разведотделе.

Единственный начальник, которого Кнорин еще ни разу не видел, был не кто иной, как сам командир корпуса генерал-майор Пухов. Рассказывали, что Пухов прошел с начала войны нелегкий путь от помкомвзвода до комбата, а в генералы был произведен, когда принял на себя командование разбитой в боях сорок второго года стрелковой дивизией, собрал ее и сумел вывести из окружения. Еще говорили, что Пухов, хоть и закончил шестимесячные курсы при военной академии, в грамоте не силен и больше доверяет чутью. Армейское начальство его не слишком жалует, однако ценит как боевого генерала. А в дивизиях Пухова побаиваются: если не приготовить в подарок какой-нибудь трофей — разнесет напроць.

Кнорин не торопился быть представленным Пухову: лишний начальник — лишние хлопоты. По правде говоря, находясь в полку, Кнорин только однажды видел живого генерала, да и то издали. Это был молодой командир дивизии Матвеев, отличавшийся, как все пограничники, безукоризненной выправкой, а также умением сидеть в седле. Именно таким Кнорин почему-то и представлял себе Пухова.

Однажды утром в разведотделе появился адъютант комкора Фетисов, широколицый деревенский парень.

— Здорово, Кнорин, — сказал Фетисов. — Комкор вызывает.

Кнорин мгновенно оправил гимнастерку и выскочил на улицу, стараясь не показать волнения. Комкор и его приближенные размещались в обширной избе с многочисленными пристройками. Кнорин замер у входа, приготовившись отрапортовать.

Неожиданно на пороге появился коренастый человек в тельняшке, галифе и домашних тапочках на босу ногу. Он был седоват, широколиц и чем-то отдаленно напоминал Фетисова, постаревшего лет на пятнадцать. Мясистое лицо его казалось флегматичным, но глаза смотрели зорко.

— Переводчик, значит, — произнес он, позевывая.

— Товарищ комкор, по вашему приказанию... — начал было Кнорин.

— Ладно, — махнул рукой Пухов. — Давай знакомиться. Немецкий хорошо знаешь?

— Так точно, товарищ генерал, имею аттестат с отличием.

— Молодец. А у меня в штабе никто по-немецки ни черта не понимает. Тут трофейные лекарства принесли, так ты уж будь добр, переведи прописи на русский язык, миляга.

— Есть, перевести прописи.

— Да чего ты заладил: “есть”, “так точно”. Я же к тебе с просьбой. Чаю хочешь? — вдруг спросил Пухов.

— Никак нет, товарищ генерал.

— Ну ладно, в другой раз, — примирительно заверил комкор. — А ящичек с лекарствами тебе доставят.

Пухов снова махнул рукой, давая понять, что разговор окончен, но Кнорин не успел произнести положенное “Разрешите идти?”, потому что в эту минуту на крыльцо выбежала с громким заливистым хохотом молодая курносая толстушка в погонах старшего сержанта. Увидев Кнорина, она осеклась и молча уставилась на него.

— Тебе чего, Гося? — спросил комкор.

— Да так, товарищ генерал, потом спрошу.

— Наша штабная медсестра Антонина Ивановна, — обращаясь к Кнорину, представил ее Пухов. — Она же моя племянница, — добавил он. Гося прыснула. — А это наш переводчик, поможет в немецких лекарствах разобраться. Не разберется — отправлю на передовую.

Обратный путь до разведотдела слегка ошарашенный Кнорин проделал в компании со словоохотливым ефрейтором из комендантского взвода, который не скупился на рассказы.

— Вообще-то Пухов добряк, — говорил он. — Передовой только пугает. И материться не любит, больше шумом берет. У него два слова: либо ты разгильдяй, либо миляга. Вон Надька из прачечной забеременела от повара, а когда спохватилась, уже поздно было. Ехать некуда, теперь Пухов ее при штабе держит. Сперва повара грозился на передовую отправить, а потом отошел, велел им с Надькой отдельный блиндаж выделить. Сейчас хозяйствуют, свиней завели. Родственников тоже пристроил, — продолжал ефрейтор. — Адьютант — родной брат по матери, денщик — племянник, и все из одной деревни Пуховки.

— И Тося оттуда? — спросил Кнорин.

— Тося ему никакая не племянница. Он ее из медсанбата взял и теперь хочет на ней жениться.

— А прежняя жена?

— Согласилась на развод — Пухов отступное дает. Тоську собирается к родным в Рязань послать, на врача учиться.

— Да ведь он ей в отцы годится!

— То-то и оно — Тоське двадцать три, а ему за пятьдесят. Но Пухов года скрывает: ей прибавляет, себе убавляет. Недавно кто-то сболтнул, что по приказу Гитлера немцы изобрели средство для омоложения. Теперь ему из всех дивизий лекарства тащут — одна морока. Скорее бы уж наступление началось — тогда он Тоську точно в тыл отправит.

— Тебе-то откуда все это известно? — удивился Кнорин.

— А я, товарищ старший лейтенант, поручения выполняю. Перемещаюсь между комендантским взводом и штабом корпуса. Чего только не наслушаешься за день. Полезно быть в курсе.

“Обстрелянный солдат”, — отметил про себя Кнорин.

В тот же день в разведотдел доставили аккуратный аптечный ящичек с разнообразными пакетиками, баночками и пузырьками. Кнорину не составило большого труда в них разобраться. Он отложил все болеутоляющие и желудочно-кишечные средства для передачи в медсанбат и на некоторое время задумался. Ничего похожего на панацею от старости в аптечке не обнаружилось. Неожиданно его внимание привлекли небольшие баночки с надписью “Фуспаста, средство для ухода за ногами”. К этому времени Кнорин и сам был уже вполне обстрелянным солдатом. Он составил на русском языке самодельную инструкцию по использованию мази для растирания тела с целью общего омоложения. И отправил ящик с дневальным для передачи комкору.

Ответ не замедлил последовать. Пухов приказал немедленно вызвать Кнорина, долго тряс ему руку и хлопал по спине, приговаривая:

— Ай да переводчик! Молодец, миляга, уважил генерала.

Фамилии комкор запоминал плохо и подчиненных предпочитал окрикивать по должностям: “Адъютант, сюда!”, “Что, разведчик, у тебя опять фонарь под глазом?”, “Думай, начштаба, думай”.

— Ну все, переводчик, — сказал напоследок Пухов. — Теперь будешь моим консультантом по личным вопросам.

Смысл этой фразы Кнорин постиг много позже.

Вскоре войска перешли в наступление, пленных стали доставлять непрерывно, и Кнорину приходилось иногда бодрствовать круглые сутки. Пухова он за все это время ни разу не

видел. Только однажды мимо их грузовика пронесся на большой скорости генеральский “виллис”.

Кнорин слышал, что за успешные боевые действия комкор представлен к награде и званию генерал-лейтенанта. По слухам, он официально оформил брак с Тосей и уже отправил ее в Рязань.

— Теперь она Антонина Ивановна Пухова, генеральша, — говорили солдаты. — Учится на зубного врача.

Осенью штаб корпуса расположился в большом белорусском селе Казаричи, среди необозримых Пинских болот.

В скором времени Кнорина вызвали к комкору. Несмотря на грязь и дрызглую погоду, Пухов был в отличном расположении духа. Он только что вернулся в корпус после получения награды, успел побывать и в Рязани. Кнорин обратил внимание на новенький, с иголки, китель, скрадывавший брюшко, новую фуражку и сияющий орден на левой стороне груди.

— Здорово, переводчик, — весело приветствовал его Пухов. — Ну как тебе генерал в новом обмундировании, нравится?

— Так точно, товарищ генерал.

— И Антонине Ивановне нравится, — простодушно заметил Пухов. — Только вот звезд на погоны не добавили, — буркнул он сердито. — Мурыжат, бюрократы. А у меня к тебе опять просьба, миляга.

— Ящичек, товарищ генерал?

— Ящичек само собой. А тут вот какое дело...

Пухов двинулся к большому, засиженному мухами зеркалу, снял с головы фуражку и вместо нее надел извлеченную из коробки новенькую папаху.

— Как думаешь, что генералу больше идет — фуражка или папаха?

Если Кнорин и задумался, то не более чем на секунду.

— Так точно, папаха, товарищ генерал, — бодро произнес он, понимая, что дело движется к зиме.

— Молодец, переводчик, и я так думаю. А знаешь, почему? Антонине Ивановне двадцать семь лет, мне — сорок пять, а выгляжу, говорят, на сорок. В папахе же и вовсе на тридцать пять. Ну как?

— Так точно, на тридцать пять, — отчеканил Кнорин, потрясенный этой арифметикой. “Что же придется говорить летом, когда снова появится фуражка?” — подумал он.

Однажды вечером Кнорина вызвали к начальнику штаба.

— Там военный совет собрался, могут справки понадобиться, — пояснил адъютант.

В избе начштаба было так накурено, что Кнорин не сразу разглядел странного вида людей в гражданской одежде и папах с красными околышами.

— Партизаны, — шепнул адъютант.

На столе лежали карты, над которыми склонились комкор, начштаба и двое партизан.

— Всего каких-нибудь двадцать километров вперед — и будете на твердой земле стоять. Болота останутся справа, немцы туда и носа не суют, — убеждал комкора главный партизан.

— А левый фланг? — тут же спросил начштаба.

— Левый фланг будем прикрывать мы, — вмешался второй партизан. — У нас и артиллерия есть. А вы нам продовольствием поможете.

Дальше началось обсуждение деталей. Решено было двигаться ночью, пустив вперед саперный взвод.

Для Кнорина навсегда осталось загадкой, что побудило недоверчивого Пухова, с его крестьянской рассудительностью и хитрецей, ввязаться в подобную авантюру. Операция завершилась плачевно. Немцы ударили и слева, и спереди, а партизан и след простыл. В результате почти все саперы погибли, и штаб корпуса оказался в окружении. Только благодаря непроходимым лесистым болотам удалось кое-как вывести людей и технику все в те же Казаричи.

В штабе корпуса составили подобающую докладную, не упомянув ни слова о партизанах, однако импровизированный болотный марш вышел впоследствии Пухову боком.

Летом сорок четвертого началось наступление по всем Белорусским фронтам. Немцы не успевали бежать на запад и сдавались в плен большими группами. Однажды Кнорину довелось участвовать в церемонии сдачи в плен целого пехотного полка с приданными ему спецчастями и полевым госпиталем. Комкор лично принимал полк. В штабе армии это событие оценили как несомненный успех Пухова, и на его генеральских погонах засверкала долгожданная вторая звезда.

Комкор снова чувствовал себя на коне. Все складывалось для него удачно. Гося успешно перешла на следующий курс, от нее регулярно приходили письма. Потери в наступлении были незначительными, и корпус одним из первых пересек прежнюю границу и вступил в Литву.

Именно в это время, как заметил Кнорин, с Пуховым стали происходить неприятные перемены, пагубно повлиявшие на его карьеру. Когда на смену белорусским избам пришли чистые и ухоженные литовские домики, пристрастие Пухова к трофеям достигло невиданных размеров. Все, что было брошено и попадалось ему на глаза — мебель, посуда, картины, одежда, — должно было немедленно упаковываться и отправляться в Рязань.

— Антонине Ивановне, — приговаривал он при этом любовно.

Страсть Пухова к трофеям постепенно превратилась в настоящую манию. Кнорин стал свидетелем досадного эпизода, когда комкор буквально схватил за горло молодую телефонистку, заметив у нее под раскрывшимся воротником гимнастерки брошь.

— Трофей?! — рявкнул Пухов.

— Никак нет, товарищ генерал, папа подарил на день рождения, — пролепетала ошеломленная телефонистка.

— Папа, папа... Почему ходите, не застегнувшись? — заорал Пухов. — Ну, что стоишь, иди! Я же сказал — ступай!

Телефонистка прибежала к связистам в слезах. На беду, подаривший брошку папа оказался важным тыловым генералом, и о случившемся быстро узнали наверху. Замелькали такие слова, как самодурство и самоуправство. После того, как в Рязань был отправлен мебельный гарнитур красного дерева, приглянувшийся армейскому начальнику, над Пуховым стали стучаться тучи.

“Что он себе позволяет? — доносилось из штаба армии. — Не генерал, а помещик какой-то. Окружил себя дворней, свиней держит, половина корпуса — родня!”

Теперь комкору припомнили и неудачную операцию в Пинских болотах, и отдельные мелкие промахи. О его боевых заслугах уже никто не говорил. Очень скоро корпус был выведен из состава армии, действовавшей на ударном направлении, и переброшен на север, к Балтийскому морю.

Штаб расквартировали в крошечном городке Ханнелен, оставленном немцами без боя. Дома стояли в поредевшем лесочке, одинокие, чистенькие и пустые. Здесь Пухову предстояло закончить войну.

Ханнелен стал для Пухова настоящей ссылкой. За короткое время комкор изменился до неузнаваемости: постарел, ссутулился и раздражался по любому поводу. В дивизиях появлялся редко, вяло выслушивал доклады подчиненных.

Немцы, которые были уже сломлены, на этом направлении никак себя не проявляли. Все ждали конца войны, строили планы, но Пухов томился от вынужденного безделья. Днем он молча слонялся по лесу с кем-нибудь из офицеров, а потом долго спал. Зато по ночам его мучила бессонница, и он коротал время за игрой в подкидного дурака вчетвером. Каждый свой проигрыш Пухов переживал болезненно, с гневом обрушивался на партнера и заставлял его продолжать игру стоя, вплоть до выигрыша. Тягостные это были ночи.

Кнорина до поры до времени никто не тревожил, и он с удовольствием занимался подготовкой материалов для сдачи в военный архив.

Однажды среди ночи раздался знакомый окрик дежурного:

— Переводчик, к комкору!

“Неужели пленный, откуда?” — подумал Кнорин спросонья.

Пухова он застал в приподнятом настроении. Тот жестом удалил картежников и ткнул пальцем в стоявший на столе ящик.

— Догадайся, что тут? — заговорщически спросил комкор.

— Лекарства, товарищ генерал?

— А вот и не угадал! — Пухов еще больше повеселел и приподнял крышку ящика. Там аккуратно стопками были размещены патефонные пластинки. Кнорин обратил внимание и на стоявший неподалеку патефон.

— Какой трофеей достали! — Пухов радовался, как ребенок. — Значит, будем действовать так. — Он сразу перешел на командный тон. — Слушаем пластинку и определяем, плохая или хорошая. Хорошие отправляем Антонине Ивановне, плохие можешь оставить себе.

Теперь о карточных играх больше не вспоминали. Каждый вечер Кнорин должен был являться к комкору на прослушивание, которое продолжалось до ранних утренних часов. Пухов слушал внимательно и по окончании каждой пластинки неизменно задавал один и тот же вопрос.

— Ну что, переводчик, хорошая или плохая?

Кнорин быстро сообразил, как следует действовать. В категорию “хорошие” он заносил бравурные марши, танцевальные ритмы и популярные мелодии вроде “Розамунды”. К “плохим” причислялись классические произведения и джазовые импровизации. Среди “хороших” оказалось несколько старинных вальсов. Особенно полюбился Пухову вальс “Березка” в исполнении духового оркестра.

— Как думаешь, переводчик, — спросил однажды Пухов, — могу я сам научиться его играть?

— На баяне?

— Почему на баяне, на рояле. Приеду после войны в Рязань и сыграю Антонине Ивановне.

— Все возможно, товарищ генерал, только вам требуется учитель музыки — профессионал.

— Что ж, найдем и учителя, если нужно.

Прослушивание пластинок закончилось так же внезапно, как и началось. Пухов был всецело поглощен поисками рояля, а Кнорин с наслаждением отсыпался.

— Слышали, товарищ старший лейтенант, у комкора новый адъютант, — сообщил Кнорину мимоходом посыльный.

— А как же сводный брат?

— Всю родню в резерв отправил — досиживать до конца войны.

Прошло несколько дней, и однажды утром в разведотделе появился молодой лейтенант приятной наружности.

— Павловский, адъютант комкора, — отрекомендовался пришедший и, улыбнувшись, добавил: — Начальство вас к себе требует.

По дороге Павловский рассказал, что недавно окончил военное музыкальное училище, изнывал в резерве и очень рад своему назначению. Павловский сразу понравился Кнорину. У него была мягкая приветливая улыбка, и к причудам комкора он относился с юмором. Кнорин, вздохнув, поведал ему о ночных бдениях с прослушиванием пластинок и с раздражением присовокупил:

— А теперь вот музыке решил учиться.

— Ничего, ничего, уже есть успехи, — успокоил его Павловский.

Когда Кнорин увидел Пухова, ему показалось, что тот еще больше постарел. От постоянной бессонницы у него появились мешки под глазами, лицо опухло, и весь он заметно отяжелел. Однако Кнорина встретил приветливо.

— Смотри, переводчик, чему я научился, — сказал он доверительно. С этими словами Пухов присел к роялю и двумя пальцами, будто на пишущей машинке, сыграл первые такты заветного вальса “Березка”.

— Главное, скорость набрать, верно, адъютант?

— Так точно, товарищ генерал.

— Ну вот, а теперь слушайте меня оба. Будем разучивать вальс.

— В каком смысле, товарищ генерал?

— В натуральном, адъютант. Ты — за роялем, а переводчик — на паркете. Будешь учить меня танцевать, — приказал он Кнорину. — Скоро Антонина Ивановна приедет.

— Может, лучше, кто-нибудь из медсестер, товарищ генерал? — взмолился Кнорин.

— Никаких женщин, понял? И никому ни слова. Начали!

Уроки танцев шли значительно тяжелее, чем уроки музыки. Помимо неповоротливости Пухова мучила одышка, и после нескольких движений он вынужден был присаживаться на стул. При этом выражение его лица становилось беспомощным, он долго вытирал пот, но по прошествии нескольких минут упрямо поднимался с места, и урок продолжался.

Павловский оставался невозмутимым и, как всегда, приветливым, а Кнорин неожиданно для себя обнаружил, что не испытывает больше прежнего чувства раздражения, не покидавшего его во время прослушивания пластинок. Теперь он радовался каждому успеху комкора.

Медленно и упорно Пухов двигался к намеченной цели, и наконец взамен неуклюжих кренделей стало вырисовываться подобие вальса. Павловский аккомпанировал умело, то замедляя, то убыстряя темп. После каждой передышки Пухов умоляюще произносил: “А ну, еще разок”.

Незадолго до Нового года, который потом стал победным, уроки музыки и танцев завершились. Однако Тося написала, что готовится к зимней сессии и приехать не сможет.

“А как же вальс? — поймал себя на мысли Кнорин. — Неужели зря старались?”

Но Пухов не сдавался. Ближе к весне он вновь послал за Кнориным.

— Слышал, переводчик, в корпусе на днях свадьба будет. Повар на Надьке женится. Все как положено — в Мемеле загс начал действовать. А какая же свадьба без танцев? Так что завтра приступаем к работе. У нас на все про все — одна неделя.

Свадьба удалась на славу. Комкор поздравил молодых и, крепко держась за рослую невесту, сумел справиться с двумя тактами вальса под бережный аккомпанемент Павловского. Затем, присев к роялю, сам воспроизвел подобие любимой мелодии, чем вызвал бурный восторг гостей.

Уже давно вниманием присутствующих прочно завладел баянист, но с лица Пухова все не сходило счастливое выражение.

— Видишь, переводчик, теперь в Рязань есть с чем поехать, — подмигнул он Кнорину.

Таким ему и запомнился комкор.

Через несколько лет после войны Кнорин неожиданно получил письмо от Павловского, в котором тот сообщал, что Пухов скончался от сердечного приступа в сорок шестом году, а Антонина Ивановна выучилась на стоматолога и работает в Подольске. “Захочешь навестить, могу дать адрес”, — добавлял Павловский.

Но Кнорин никого навещать не собирался. “Что ж, три года счастья не так уж мало”, — подумал он.

Догнать свою часть

Как-то раз, придя в Парк культуры на ежегодную встречу ветеранов по случаю Дня Победы и прогуливаясь в ожидании однополчан, Кнорин обратил внимание на высокую пожилую женщину, державшую в руках дощечку с цифрами. Женщина чувствовала себя неуверенно, время от времени оглядываясь по сторонам. Впечатление она производила странное. Пряди седых волос перемежались у нее с темными, порыжевшими от краски, и были уложены в давно забытую москвичами прическу — взбитую копну волос с венчиком на макушке, отчего женщина казалась еще более высокой несмотря на некоторую сутуловатость. Платье из шелковой разноцветной ткани выглядело на ней нелепо, как будто она из него выросла, а на ногах были простые мужские ботинки со шнурками.

Кнорин почувствовал, что эта женщина здесь ни разу не была, может быть, и в Москве впервые. Он никак не мог разглядеть цифры на дощечке и решил подойти поближе. Увидев его, женщина вскрикнула.

— Товарищ лейтенант!

Кнорин опешил. Он давно уже вышел в отставку полковником и обычно ходил в штатском. Лейтенантом он был на Курской дуге.

— Не узнаете? Я же Люся из медсанбата. У вас в разведдивизии перевязки делала, а вы тогда переводчиком служили. Помните, я Павлюка выхаживала, а потом он из госпиталя убежал, чтобы нашу часть догнать. А вы, товарищ лейтенант, почти не изменились!

Женщина широко улыбнулась, обнажив десны и неровный ряд металлических зубов. И тут Кнорин мгновенно вспомнил и ее, и Павлюка. История была бесхитростная.

— Все равно свою часть догоню, — упрямо повторял Павлюк, прощаясь с ребятами по палате.

На другой день его должны были выписать из госпиталя, где он долго залечивал очередное ранение, и отправить в резерв армейского командования.

— Не догонишь, расстреляют как дезертира, — со знанием дела говорили некоторые.

— Тебе что, помирать в своей части веселее? — шутили другие.

— Представь себе, веселее, — отвечал Павлюк. — Так что бывайте, ребята, мне за ночь далеко нужно уйти.

Стремление непременно вернуться в свою часть проявляли многие, хотя объяснить его толком не могли. Подспудно у людей на войне возникало ощущение пусть временного, ненадежного, но все же своего дома. Что касается Павлюка, причина, побуждавшая его догонять свою часть, заключалась совсем в другом. Его ждала медсестра Люська.

Люська была совсем молоденькая, долговязая голенастая девчонка. Такие девушки на войне успехом не пользовались. Военные предпочитали маленьких, складненьких, удобных. Кирзовые солдатские сапоги доходили Люське только до середины икры, а казенная юбка едва прикрывала худые коленки. Кроме того, старый резиновый пояс, поддерживавший чулки, ослаб, и Люське постоянно приходилось его поддегивать, что незаметно вошло у нее в привычку.

— Люся, — сказал ей как-то старшина из хозчасти. — Тебе нужен новый пояс с резинками, чтобы держались чулки.

— Где я его возьму, разве что с убитого немца, — рассмеялась Люська.

— Зачем с убитого, можно из парашютного шелка сделать. Там прорезиненные части есть — разведчики недавно из оврага притащили. Я Сеньку-портного попрошу, он мигом пояс сварганит. А то вернется Павлюк, а ты живот поддегиваешь — некрасиво.

Люська задумалась — и правда, некрасиво. В том, что Павлюк вернется, она ни минуты не сомневалась. Вот только как скоро ему удастся найти свою часть?

Несмотря на нескладный вид, Люська вызвала всеобщее расположение. Ее любили за веселый нрав и готовность прийти на помощь по первому зову. Медсанбатские девочки обычно не очень стремились в полк, а Люську и просить было не нужно. Если кого-нибудь даже слегка царапнуло, она в любое время суток могла примчаться куда угодно, перепрыгивая прямо через траншеи, за что не раз получала нагоняй.

— Ну, где тут раненый? — весело спрашивала Люська, проворно раскладывая инструменты из огромной брезентовой сумки. — Сейчас будем его лечить, — добавляла

она, широко улыбаясь. При этом у нее обнажались десны, и казалось, она вот-вот расхохочется. Люська была по натуре смешливой девушкой и радовалась любой солдатской шутке.

Однажды после разведпоиска сквозное ранение в ногу получил сержант Павлюк.

— Отправим в медсанбат, — сказал командир взвода. — Фельдшер за медикаментами уехал.

— Сами перевяжем, — заявил Павлюк. — Нечего по пустякам в медсанбат соваться.

Но случилось так, что перевязку сделала Люська, которая как раз оказалась в полку. Павлюк на нее даже не взглянул ни разу.

Прошло некоторое время, и рана стала гноиться. У Павлюка начался сильный жар. На этот раз Люська приехала на дивизионном “виллисе”, с кучей трофейных лекарств, которые она выпросила у адъютанта командира дивизии. Уверенными неторопливыми движениями стала обрабатывать рану.

— Ни к чему все это, незачем беспокоиться, — грубовато заметил Павлюк, но вскоре впал в беспамятство.

Люська терпеливо выхаживала Павлюка. Когда жар спал и рана перестала гноиться, она сказала:

— Ну все, герой, теперь пойдешь на поправку. Раз в неделю будешь у фельдшера перевязку делать, а мне пора в медсанбат.

— Обожди, поговорить надо, — сказал Павлюк.

— О чем говорить, успеем еще. Меня в медсанбате раненые ждут, — рассмеялась Люська и убежала, перепрыгивая через траншеи.

— Слыхали, ребята, — сказал через некоторое время помкомвзвода, — Павлюк рапорт подал, просится в дивизионную разведроту. Видать, хочет к Люське поближе быть.

— Павлюк ростом не вышел — он Люське по плечо.

— Подумаешь, вопрос. Это Люська длинная, как жердь, а Павлюк парень что надо. Ничего не боится — на фрица хоть с ножом, хоть в рукопашную пойдет.

Вскоре Павлюка и в самом деле перевели в разведроту. Целыми днями он был занят подготовкой к поиску, а по вечерам регулярно навещался в медсанбат. Поиск обернулся потерями. Разведчики попали в засаду, двое погибли, а Павлюка еле вытащили — его тяжело ранило в грудь и живот. Когда его увозили в госпиталь, он успел сказать:

— Вот что. Мы с Людмилой решили пожениться. Если ее кто-нибудь обидит — горло перережу. Я свою часть все равно догоню.

— Ну и как, догнал? — спросил Кнорин, который к тому времени уже служил в корпусе.

— Догнал, под самым Гомелем, — сказала Люська. — А потом еще раз догонял, когда в Пруссию вошли.

Люська умолкла, а Кнорину неловко было спросить, чем же закончилась вся эта история. Как будто угадав его мысли, Люська широко улыбнулась.

— Поженились, поженились, сразу после войны, и уехали к его родителям в Новороссийск. Только жить ему оставалось недолго, всего пять лет — он же весь израненный. Там и похоронили. И детей у нас не было. Я давно в Москву собиралась, а в этом году дорогу оплатили — вот и приехала.